

Айрис Шуманова

Шаверна Млечный Путь
«Смех, который не продаётся»

Айрис Туманова

Смех, который не продается

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73393483

SelfPub; 2026

Аннотация

Представьте, что однажды вечером вы проваливаетесь под сцену – в прямом и переносном смысле. Выходите на пустую улицу, а там, где была стена, мерцает дверь. За ней пахнет деревом, камином и чем-то забытым. Здесь чинят не только чайники, но и души. Здесь клоун учится смеяться без маски, инженер – гордиться починенным чайником не меньше, чем ракетой, а девочка впервые не сжигает стихи, потому что рядом вдруг оказывается мама.

«Смех, который не продаётся» – вторая книга трилогии о таверне «Млечный Путь». Это тёплая, абсурдная и бесконечно честная история о том, как нелепо и страшно быть собой. О тишине, которая лечит лучше слов. И о том, что иногда починить отношения можно одной чашкой чая с двумя соломинками.

Если вы когда-нибудь боялись, что вас не услышат, – откройте эту книгу. Таверна ждёт. Спираль над дверью уже зажглась.

Айрис Туманова

Смех, который не продается

Айрис Туманова

Смех, который не продаётся

Глава 1. Последний выход клоуна

Запах пыльных кулис он узнал бы с закрытыми глазами.

Это была сложная, многослойная смесь: старая древесина сцены, въевшаяся в поры; дешёвый грим, которым он пользовался двадцать лет назад, когда ещё верил, что красный нос – не маска, а ключ; прелые опилки, которые никто не менял с девяностых; и поверх всего – тонкий, едва уловимый шлейф дешёвого виски.

Он сидел в гримёрке уже час после закрытия. Зеркало напротив было равнодушно: оно показывало человека сорока лет с мешками под глазами и залысинами, которые не скрыть никаким париком. Грим он снял, но лицо всё равно казалось чужим.

Красный нос лежал на столике.

Просто лежал. Резиновый, потёртый, с внутренней сторо-

ны – следы от зубов. Его собственные следы, хотя он не помнил, когда в последний раз надевал его по-настоящему. Не для фото, не для встречи с фанатами, не для благотворительного аукциона – а чтобы выйти и рассмешить.

Он протянул руку.

Пальцы остановились в сантиметре от резины.

Не смог.

В зале сегодня было сорок три человека.

Он знал это точно, потому что пересчитал билеты. Сорок три человека заплатили деньги, чтобы услышать его шутки. Сорок три человека пришли в надежде забыть о своих проблемах на час-полтора.

Он не забыл о своих. И им, кажется, не помог.

Первая шутка – о политике – упала в тишину, как мёртвая птица. Вторая – о семейной жизни – вызвала один нервный смешок в четвёртом ряду. Женщина лет пятидесяти, которая, видимо, узнала себя. Третью он вообще не закончил: запнулся на середине фразы и долго смотрел на микрофон, пытаясь вспомнить, что с ним делать дальше.

Кто-то кашлянул. Кто-то завозился, собирая вещи.

К концу выступления в зале осталось тридцать семь человек.

Шесть ушли. Не демонстративно, не хлопая дверьми – просто тихо поднялись и выскользнули, как вода сквозь

пальцы. Это было хуже, чем свист. Свист – это реакция. А равнодушные – приговор.

Сейчас в здании не было никого, кроме старого вахтёра на входе и его самого.

Вахтёр, дядя Толя, работал здесь с незапамятных времён. Он помнил ещё то время, когда в этом зале выступали настоящие звёзды – не стендаперы, а эстрадные артисты в блестящих костюмах и с оркестром. Дядя Толя никогда не смеялся над его шутками. Только качал головой и говорил: «Раньше, знаешь, клоуны были добрее».

«Я и есть клоун», – хотел ответить он.

Но не ответил. Потому что уже сам не знал, клоун он или просто человек, который разучился смеяться, но упрямо выходит на сцену каждую пятницу.

Он налил себе виски из початой бутылки, которую держал в гримёрке «для храбрости». Сделал глоток – жидкость обожгла горло, но внутри ничего не изменилось. Там, внутри, было пусто и тихо, как в зале после выступления.

Он посмотрел на красный нос.

Этот нос он купил двадцать три года назад в цирке-шапито, куда сбежал из дома, потому что ему было семнадцать и он ненавидел школу, отца, математику и весь мир. Кассир-

ша, толстая цыганка с золотыми зубами, посмотрела на него и сказала: «Красивый мальчик, хочешь быть клоуном?» Он кивнул. Она протянула ему красный нос: «Дарю. Смехи людей – и будешь счастливым».

Двадцать три года он пытался быть счастливым.

Не получилось.

Он вышел на улицу в половине первого.

Ночь была холодной, осенней, с мелким противным дождём, который не мочит, а просто настойчиво напоминает о своём существовании. Он не стал вызывать такси – пошёл пешком, сунув руки в карманы старого кожаного пальто, которое давно требовало ремонта.

Красный нос он зажал в кулаке.

Почему не оставил в гримёрке? Непонятно. Просто не смог выбросить.

Дождь усиливался. Фонари горели вполнакала, и тени дрожали на мокром асфальте, как испуганные звери. Он шёл, глядя под ноги, считая трещины в плитке. Сорок три трещины – как зрители сегодня. Пять из них – глубокие, до самой земли. Как те, кто ушёл в середине выступления.

Зачем он вообще этим занимается?

Вопрос повис в воздухе и не требовал ответа. Потому что ответа не было.

Он свернул в переулок, надеясь сократить путь.

И замер.

Потому что переулочка здесь не было.

Он знал этот район как свои пять пальцев: двадцать лет назад он снимал квартиру на соседней улице, и каждый вечер ходил в магазин за продуктами мимо этого места. Здесь всегда была глухая кирпичная стена с граффити – кажется, кто-то изобразил космонавта, но краска облупилась, и теперь это был просто разноцветный абстрактный узор.

Сейчас стена была на месте.

Но в ней появилась дверь.

Он протёр глаза. Дождь попадал на ресницы, искажал картинку. Дверь не исчезала.

Она была старой, деревянной, с потёртой латунной ручкой, отполированной тысячами прикосновений. Над дверью, едва заметно мерцая в темноте, вращалась **спираль, обвиняющая перо**.

Он смотрел на неё, и что-то внутри – там, где было пусто и тихо – вдруг дрогнуло.

Спираль. Перо.

Он не знал, что это значит. Но его рука сама потянулась к ручке.

– Осторожнее, молодой человек.

Голос раздался откуда-то сбоку. Он обернулся.

У двери стоял мужчина в безупречной ливрее, с яр-

ко-красным цветком в петлице и улыбкой, которая могла означать всё что угодно: от искреннего дружелюбия до хорошо отрепетированной насмешки.

– Это дверь, – сказал мужчина. – В неё входят. Но сначала нужно постучаться.

– Я... я не знал, что она здесь.

– Обычно её не замечают. – Швейцар (а это был, конечно, он) чуть склонил голову, разглядывая его с неподдельным, почти профессиональным интересом. – Те, кто замечает, либо счастливы, либо... – он сделал паузу, – либо те, у кого внутри что-то треснуло достаточно, чтобы впустить свет.

Он сжал красный нос в кармане.

– Я не знаю, треснуло ли у меня, – сказал он тихо. – Я просто... сегодня было сорок три человека. Шестеро ушли. Я забыл текст на третьей шутке.

– А, – Швейцар кивнул так, будто услышал не жалобу, а точный медицинский диагноз. – Значит, трещина. Заходите.

Ручка повернулась с лёгким, мелодичным щелчком.

– У нас сегодня как раз вечер несостоявшихся триумфов, – добавил Швейцар, открывая дверь. – Цилиндр уже занял лучшее кресло, но вам, кажется, нужно что-то помягче.

Он перешагнул порог.

Внутри пахло деревом, старой бумагой, кофе и чем-то ещё – сладковатым, уютным, забытым. Камин тихо потрескивал

в углу, отбрасывая тёплые блики на лица людей, которые сидели за столиками, у стойки, в глубоких кожаных креслах.

Никто не обернулся на его появление.

Никто не уставился.

Никто не оценивал.

Он стоял на пороге и чувствовал, как напряжение, которое он носил в плечах последние пять лет, медленно, неохотно, начинает отпускать.

Швейцар бесшумно возник рядом.

– Красный нос, – сказал он негромко. – Хороший. С историей. Такие не продаются в магазинах.

– Мне его подарили. Двадцать три года назад.

– Дарителю – низкий поклон. А вам – добро пожаловать в «Млечный Путь».

Он разжал пальцы.

Красный нос лежал на ладони, тёплый от долгого сжатия. В свете камина его резиновая поверхность казалась почти живой.

– Я не знаю, зачем я сюда пришёл, – сказал он.

Швейцар усмехнулся – не насмешливо, а скорее устало, как человек, который слышит эту фразу каждый вечер и уже привык к тому, что она почти всегда неправда.

– Никто не знает, – ответил он. – Особенно те, кто пришёл правильно.

И, уже уходя к двери, бросил через плечо:

– Бармен нальёт вам чаю. Не виски. Чай. Сегодня вам

нужно не забыть, а вспомнить.

Он остался один у порога.

В руке – красный нос.

В груди – что-то, похожее на надежду.

Он сделал шаг в зал.

Пол под ногами был тёплым, чуть пружинил. И, кажется, совсем не пахло пылью.

Глава 2. Баллада о некипящем чайнике

Запах гаража был запахом его жизни.

Машинное масло – густое, терпкое, с горьковатой нотой металла. Оловянный припой, который он разогревал паяльником уже сорок лет, и руки помнили эту температуру с точностью до градуса. Старое дерево верстака, в которое въелась графитовая пыль и, кажется, сама память о тысячах починенных вещей.

Здесь пахло работой.

Здесь пахло домом.

Здесь пахло им самим.

Артём сидел на низком табурете перед верстаком уже три часа. Перед ним стоял чайник.

Обычный электрический чайник, белый пластик, дёшево и сердито. Таких на рынке – тысяча рублей, не больше. Но этот чайник был особенным. Этот чайник не кипятил воду.

Он заменил ТЭН – два раза. Проверил проводку от вилки

до нагревательного элемента – всё было в идеале. Прозвонил терморегулятор, перепаял контакты, даже заменил кнопку включения, хотя старая ещё щёлкала исправно.

Чайник стоял, наполненный водой до отметки «тах», и молчал.

Не грел. Не кипятил. Не издавал даже намёка на то радостное бульканье, с которым нормальные чайники выполняют свою единственную работу.

– Ну что ты молчишь? – спросил Артём у чайника.

Чайник молчал.

В углу гаража, на древнем радиоприёмнике «Ригонда», тихо шипела частота без станции. Артём не выключал его никогда – просто привык к этому белому шуму, который заполнял тишину.

Он снял очки, протёр запотевшие стёкла замызганной фланелью. Руки дрожали – то ли от усталости, то ли от трёхчасового напряжения, то ли от того, что он уже не помнил, когда в последний раз нормально ел.

Внук, Славка, забегал на прошлой неделе. Посмотрел на деда, на чайники, разложенные по полкам, на огромный чертёж космического корабля, который висел на стене и с которого Артём каждый день стирал пыль. Сказал:

– Дед, ну ты скучный. Все нормальные деды с внуками в футбол гоняют или на рыбалку ходят. А ты всё со своим железом возишься.

Артём не ответил. Он не знал, как объяснить пятнадца-

тилетнему мальчишке, что космический корабль и электрический чайник подчиняются одним и тем же законам физики. Что сопротивление материалов не зависит от масштаба. Что термодинамика едина для ракеты, стартующей к Марсу, и для бытового прибора, который должен вскипятить воду для утреннего кофе.

Он не знал, как сказать внуку: «Я не скучный. Просто всё, что я умел, стало никому не нужно».

Семьдесят лет. Из них пятьдесят пять он проработал инженером.

Не просто инженером – ведущим конструктором в НПО «Энергия». Он рассчитывал нагрузки на стартовые комплексы для «Протонов» и «Союзов». Он чертил схемы, от которых зависела жизнь космонавтов. Его фамилия была в закрытых отчётах, в благодарственных письмах министерства, в пожелтевших газетных вырезках, которые он хранил в картонной коробке под верстаком.

А потом грянуло то, что грянуло.

Девяностые. Ноль целых, ноль десятых. Зарплату не платили месяцами, институт еле дышал, заказы схлопнулись, как мыльный пузырь. Он держался до последнего – перешёл на полставки, потом на четверть, потом просто приходил в пустой цех и сидел, глядя на недостроенный агрегат, который никогда не улетит в космос.

Его уволили в 2003-м.

Сказали: «Вы хороший специалист, Артём Николаевич, но сейчас время других людей. Молодых, амбициозных. Вы уж извините».

Он не извинился.

Он просто собрал свои чертежи, инструменты, дипломы и ушёл в гараж.

Сначала думал – на время. Перекантуется, переждёт бурю, а потом снова вернётся на любимую работу.

Прошло двадцать два года.

Он всё ещё ждал.

Чайник молчал.

Артём взял отвёртку, потом положил. Взял мультиметр, прозвонил цепь в сотый раз – ноль. Взял паяльник, прогрел контакты терморегулятора – ноль.

Чайник стоял и насмехался над ним своим идеально холодным корпусом.

– Да что ж ты такое, – прошептал Артём.

В голосе не было злости. Только усталость. И странная, липкая обида – не на чайник, на всё сразу.

На то, что вместо космодрома у него гараж. Вместо чертежей ракет – схемы кофеварок. Вместо благодарственных писем от космонавтов – отзывы на «Авито»: «Спасибо, мастер, чайник работает отлично».

Он не презирал эту работу. Нет, он даже любил её – за честность, за понятность, за то, что после его рук вещи начинали жить снова. Но где-то глубоко внутри, в том самом месте, где раньше жила гордость, теперь пульсировала тупая, ноющая боль.

Он построил дорогу к звёздам.

А теперь чинит пути для кипятка.

Внезапно чайник щёлкнул.

Артём вздрогнул, уронил отвёртку.

Чайник не включился – просто издал короткий, сухой звук, будто вздохнул.

– Ты что, издеваешься? – спросил Артём. – Три часа молчал, а сейчас – «щёлк»?

Чайник не ответил.

Артём посмотрел на него, на свои руки в машинном масле, на чертёж космического корабля на стене. Корабль назывался «Буран-2». Он так и не был построен.

– Да пошло оно всё, – сказал Артём.

И швырнул отвёртку в стену.

Она вонзилась в кирпичную кладку – и вдруг что-то изменилось.

Сначала он подумал, что пробил трубу. Из стены полился свет. Не электрический, не холодный – тёплый, густой, янтарный, с запахом... с запахом бульона?

Артём замер.

Свет лился, не убывая, и в стене проступил контур. Дверь. Которой здесь никогда не было.

Он должен был испугаться. Но почему-то не испугался. Вместо страха пришло странное, забытое чувство – любопытство.

Он толкнул дверь.

За ней было тепло.

И тихо.

И пахло не машинным маслом, а деревом, старой бумагой и чем-то ещё – сладковатым, уютным, забытым. Камин потрескивал в углу, отбрасывая пляшущие тени на лица людей, которые сидели за столиками, у стойки, в глубоких кожаных креслах.

Он стоял на пороге, сжимая в руке гаечный ключ. Тот самый, с которым работал три часа. Тёплый от долгого касания, с отполированными впадинами на рукоятке – следами его пальцев.

– Проектировщик стартовых комплексов?

Голос раздался откуда-то справа. Артём обернулся.

У двери стоял мужчина в безупречной ливрее, с ярко-красным цветком в петлице и улыбкой, в которой смешивались ирония и усталость.

– Откуда вы... – начал Артём.

– Шучу, – перебил Швейцар. – Вычислить нетрудно. Гаечный ключ, мозоль на среднем пальце, взгляд человека, который привык иметь дело с системами гораздо сложнее человеческого организма. И, – он кивнул на чертёж «Бурана-2», который Артём, сам не зная зачем, прихватил с собой, – это.

Артём посмотрел на свёрнутый в трубку ватман в своей руке.

– Я не знаю, зачем я это взял, – сказал он.

– Знаете, – спокойно ответил Швейцар. – Это единственное, что у вас осталось от масштаба. Остальное, как тот чайник, – не кипит.

Артём хотел возразить, но не нашёл слов.

– У нас тут как раз один агрегат забарахлил, – продолжал Швейцар, открывая дверь в зал. – Не бойтесь, это не ракета. Это кофеварка. Но принцип тот же.

Он шагнул внутрь.

Пол под ногами был тёплым. Не как бетонный пол гаража, не как кафель мастерской – а как старый, вытертый до блеска деревянный настил, который помнит тысячи шагов.

– Бармен нальёт вам воды, – донеслось уже из глубины зала. – Не чай. Воду. Чистую, холодную, для ясности ума.

Артём стоял, сжимая гаечный ключ.

В углу, в огромном мягком кресле, дремал пожилой человек в помятом цилиндре. Рядом на столике дымилась кружка – ложка торчала строго вертикально, как часовой на посту.

У камина, с вязанием в руках, сидела усталая женщина в

кардигане. Она подняла глаза, встретила с ним взглядом и чуть заметно кивнула.

Бармен, молодой человек с лицом, которое невозможно запомнить, поставил на стойку стакан. Обычный стакан, тяжёлое стекло, вода с долькой – нет, не лимона. Что-то другое. Прозрачное, чуть мерцающее в полумраке.

Артём подошёл, взял стакан. Вода была холодной, но пальцы вдруг перестали дрожать.

– Как его зовут? – спросил он, глядя на стакан.

– Чайник? – Бармен чуть приподнял бровь. – У него нет имени. Но, кажется, он просто устал. Долго ждал, когда его починят не для того, чтобы греть воду, а чтобы понять: его не выбросили.

Артём сжал стакан.

Впервые за двадцать два года он не чувствовал себя лишним.

Глава 3. Тетрадь, которая не горит

Запах сырой бумаги она узнала бы из тысячи.

Это был запах обещания. Чистый лист, который ещё не испорчен неуклюжими строчками, не измят, не сожжён. Запах надежды – и страха. Потому что чистый лист можно заполнить чем угодно. Даже правдой.

Катя сидела на скамейке в парке уже час.

Дождь начинался как неуверенный, робкий – моросил,

проверял, не прогонят ли. Но никто не прогонял. В парке в этот поздний осенний вечер не было ни души, только она, скамейка, фонарь с мигающей лампой и раскрытый блокнот на коленях.

Она писала быстро, почти не глядя на страницу. Слова выплёскивались наружу, как вода из переполненной чашки. Она не думала, не подбирала рифмы – просто выпускала то, что накопилось за день, за неделю, за год.

«Мама приходит с работы в одиннадцать.»

Я уже сплю. Или делаю вид, что сплю.

Она не заходит в комнату – боится разбудить.

Я не открываю глаза – боюсь, что спросит:

"Как дела в школе?"

Я не знаю, как дела в школе.

Я знаю, что у фиалки на подоконнике завял третий лист.

Я поливала её вчера. И позавчера.

Может, она не хочет, чтобы её поливали.

Может, ей просто нужно, чтобы кто-то сидел рядом и молчал».

Она оторвала ручку от бумаги.

Прочитала написанное.

В носу защипало – то ли от холода, то ли от слов.

– Глупость, – сказала она вслух. – Какая глупость.

И рванула лист из блокнота.

Она делала это сотни раз. Тысячи. Ритуал, который начался два года назад, когда учительница литературы сказала: «Катя, у тебя неплохо получается, но стихи сейчас никому не нужны. Иди в математический кружок».

Она не пошла в математический кружок. Она купила новый блокнот и написала стихотворение о том, как пахнет мел в школьном классе.

А потом сожгла его.

Зажигалка была старой, ещё отцовской. Он оставил её на кухне, когда уходил, – «забыл». Мать не выбросила. Катя нашла её в ящике с ножами и вилками и забрала себе.

Щелчок. Шипение. Синий огонёк.

Бумага вспыхивала легко и быстро, сворачивалась в чёрный, хрупкий свиток, рассыпалась пеплом по асфальту. Ветер уносил остатки – и вместе с ними уходила боль. На час. На два. До следующего стихотворения.

Сегодня огонь не взял бумагу.

Она чиркнула зажигалкой раз, другой, третий. Пламя ли- зало край листа и тут же гасло, будто бумага была пропитана чем-то негорючим. Сыростью. Отчаянием. Усталостью.

– Да что ты, – прошептала Катя. – Гори.

Лист не горел. Только темнел по краям, сворачивался, но не вспыхивал.

Она сжала мокрый, обмякший комок в кулаке.

– Ну и не надо, – сказала она. – Никому это не нужно.

Слёзы пришли внезапно – не из жалости к себе, а из зло- сти. На дождь, который не даёт сжечь. На бумагу, которая отказывается исчезать. На слова, которые всё равно никто не прочитает.

Она подняла глаза.

И увидела дверь.

Она была нарисована мелом на кирпичной стене старого дома в глубине парка. Катя могла поклясться, что минуту назад здесь ничего не было – только облупившаяся штука- турка и граффити, оставленные местными художниками.

Но теперь здесь была дверь.

Не нарисованная – настоящая. Деревянная, с потёртой ла- тунной ручкой. И над ней – едва заметное мерцание: спи- раль, обвивающая перо.

Катя замерла.

Она знала, что это игра воображения. Что дождь и уста-

лость играют с ней злую шутку. Что нормальные люди не видят дверей в кирпичных стенах.

Но ноги уже несли её вперёд.

Она толкнула дверь.

Внутри пахло деревом, старой бумагой и чем-то ещё – сладковатым, уютным, забытым. Камин потрескивал в углу, отбрасывая тёплые блики на лица людей, которые сидели за столиками, у стойки, в глубоких кожаных креслах.

Катя стояла на пороге, сжимая в кулаке мокрый комок бумаги. Слезы на щеках уже высохли, но следы, наверное, остались.

– Юная поэтесса?

Голос раздался откуда-то справа. Катя обернулась.

У двери стоял мужчина в безупречной ливрее, с ярко-красным цветком в петлице и улыбкой, в которой не было ни капли снисходительности.

– У нас тут как раз библиотека, – сказал он. – Книжки сами выбирают читателя. Только чур не сжигать – уборщица нервничает.

Катя машинально разжала пальцы. Мокрый комок упал на пол.

Швейцар наклонился, поднял его, бережно расправил.

– «Фиалка на подоконнике», – прочитал он вслух. – Хорошее название. Хотя я бы назвал «Третий лист». Он всегда

самый трудный.

Катя смотрела на него, не в силах произнести ни слова.

– Проходите, – сказал Швейцар, возвращая ей скомканный, всё ещё влажный лист. – Ваше место пока не выбрано. Но, кажется, оно где-то у окна. Там фиалки.

Он подмигнул – совсем по-детски, без всякой взрослой иронии.

Катя шагнула в зал.

Пол под ногами был тёплым.

Она прошла мимо камина, мимо стойки, мимо высоких стеллажей, уходящих куда-то вверх, в темноту. Её никто не останавливал, не спрашивал, кто она и откуда. Только пожилая женщина с вязанием подняла глаза и чуть заметно кивнула.

В углу, в глубоком кресле, дремал мужчина в помятом цилиндре. Перед ним на столике дымилась кружка – ложка торчала вертикально, как обещание.

Катя села у окна.

На подоконнике стоял горшок с фиалкой. Три листа. Четвёртый, маленький, только начинал проклёвываться.

Она положила перед собой мокрый, измятый лист.

Расправила его пальцами, разгладила морщинки.

Прочитала ещё раз.

«Мама приходит с работы в одиннадцать...»

– Фиалки не любят, когда их много поливают, – сказал кто-то тихо.

Катя подняла голову.

Рядом стоял пожилой мужчина с добрыми, очень усталыми глазами. В руках он держал альбом и акварельные краски.

– Им нужно просто быть рядом, – добавил он. – Смотреть. Дышать одним воздухом. Вода – это не любовь. Вода – это необходимость. А любовь – это... когда сидишь и молчишь, и цветок знает, что ты здесь.

Он сел напротив, открыл альбом.

– Я нарисую твою фиалку, – сказал он. – Можно?

Катя кивнула.

Она смотрела, как его кисть касается бумаги, как появляются листья – сначала бледные, почти прозрачные, потом плотные, зелёные, живые. Как распускается цветок – нежно-фиолетовый, с жёлтой серединкой.

– Ей нужна пара, – вдруг сказала она. – Фиалка не может быть одна.

– Может, – ответил Мудрец. – Она привыкла. Но с парой, конечно, лучше.

Он оторвал листок и протянул ей.

На нём было две фиалки. Рядом. Совсем близко.

– Это тебе, – сказал он. – Подаришь, когда будешь готова.

Катя взяла рисунок.

И вдруг, сама не зная зачем, положила рядом свой скомканный, мокрый листок со стихами.

– Я ничего не умею, – сказала она. – Только писать. И сжигать.

– Это уже два умения, – ответил Мудрец. – Больше, чем у многих.

Он улыбнулся – и растворился в полумраке библиотеки, оставив её одну у окна с фиалкой, рисунком и стихами, которые сегодня почему-то не захотели гореть.

Катя сидела долго.

Стемнело, в зале зажгли свечи. Кто-то подошёл к роялю, и тихая, грустная мелодия поплыла между столиками.

Она не плакала. Она просто сидела и смотрела на фиалку.

Потом достала из рюкзака новый блокнот – чистый, ни разу не открытый – и аккуратно вклеила в него рисунок с двумя цветами.

И листок со стихами.

Неровно, криво, некрасиво.

Но это было её.

И оно не горело.

Глава 4. Три угла одного зала

Пол под его ногами вибрировал с частотой сорок герц.

Кирилл – он уже начал мысленно называть себя так, хотя в таверне не спрашивали имён – сидел за столиком у стойки

и пытался понять, что это за звук. Не звук – ощущение. Ритмичная дрожь, уходящая от пяток в позвоночник, как азбука Морзе, которую он когда-то учил в радиокружке.

Три точки. Тире. Три точки.

SOS.

Он усмехнулся и убрал руки со столешницы. Пол под ногами продолжал пульсировать, но теперь, когда он перестал вслушиваться, вибрация почти исчезла – растворилась в общем гуле зала, в треске камина, в далёком перезвоне бокалов.

Красный нос лежал на столе рядом с нетронутым стаканом чая.

Он не надевал его с того самого вечера, когда провалил выступление. Просто носил в кармане, грел пальцами, вынимал и рассматривал при свете – дома, в гримёрке, теперь здесь. Нос был старым, потёртым, с едва заметной трещинкой у основания. Его подарили ему двадцать три года назад, и с тех пор он ни разу не покупал новый.

Он взял нос в руку.

Резина была тёплой. Пальцы сами нащупали вмятины от зубов – свои собственные следы, оставленные в те времена, когда он ещё верил, что клоун может изменить мир.

– Не надейся, – сказал он тихо. – Мир не меняется.

Пол под ногами ответил короткой, успокаивающей пульсацией.

Точка. Тире. Точка.

Р.

«Р» – первая буква его настоящего имени. Того, которое он оставил за порогом.

Он убрал нос в карман и сделал, наконец, глоток чая. Чай был крепким, горьковатым, с бергамотом. Ложка на блюде стояла строго вертикально – он пробовал её наклонить, но она возвращалась в исходное положение, как упрямый часовой.

– Не борись, – раздалось откуда-то сбоку. – Она всегда так делает. Это её способ напоминать, что в мире ещё есть вещи, которые не подчиняются законам гравитации.

Он обернулся.

Рядом стояла женщина в элегантном, чуть помятом костюме, с бокалом прозрачной жидкости и блокнотом в руках. На вид – лет тридцать пять, с острым, цепким взглядом и насмешливой складкой у губ.

– Дама с Острым Языком, – представилась она. – Можете называть меня просто Дама. Или, если хотите рассмешить, – Ваше Высочество. Я снисходительно улыбнусь, и мы оба сделаем вид, что это было остроумно.

Кирилл моргнул.

– Я... не знал, что здесь представляются.

– А вы не представляйтесь. Я и так знаю, кто вы. – Она присела на соседний стул, не спрашивая разрешения. – Вы – человек, который принёс в таверну красный нос и не знает, что с ним делать. Это уже третья версия такого человека,

кстати. Первая была лет сто назад, он работал в цирке на Цветном бульваре. Вторая – пятнадцать лет назад, он играл в театре «Лицедеи». Вы – третья.

– И что с ними стало?

– Первый ушёл на пенсию и открыл собачий приют. Второй уехал в Канаду и теперь снимается в рекламе корма для кошек. – Она сделала глоток. – Не знаю, что станет с вами. Но нос у вас хороший. С историей. Такие не продаются.

Она встала и, уже уходя, бросила через плечо:

– Ваш сосед у окна чинит чайники. А девочка в углу пишет стихи, которые потом сжигает. Вы все – экспонаты одной выставки. Просто ещё не знаете об этом.

В другом конце зала, у высокого столика с видом на окно, Артём разложил свои инструменты.

Он делал это автоматически – привычка сорока лет. Сначала отвёртка, потом мультиметр, потом паяльник, потом коробочка с мелкими деталями, рассортированными по размеру. Бармен разрешил ему взять со стойки сломанные часы – старые, механические, с остановившимся маятником.

– Я не часовщик, – предупредил Артём.

– А я не бармен, – ответил Бармен. – Но иногда приходится.

Часы лежали на столе, раскрытые, как больная птица. Артём всматривался в шестерёнки, в пружины, в тонкие оси – и

не видел ничего необычного. Обычный механизм, обычный износ, обычная пыль.

– Вам нужна лупа, – сказал кто-то.

Артём поднял голову.

Перед ним стоял пожилой человек с добрыми, выцветшими глазами и трубкой в зубах. От него пахло морем, солью и старой кожей.

– Старый Моряк, – сказал он. – Можете звать Моряком. У меня тоже были часы. Хронометр. Утонул вместе с кораблём в шестьдесят восьмом.

– Соболезную, – сказал Артём.

– Пустое. Корабль был старый, хронометр – новый. Так и не успели с ним познакомиться. – Моряк присел на край стула. – А вы успели познакомиться со своими часами?

Артём посмотрел на механизм.

– Это не мои часы. Я просто чиню.

– Всегда сначала чиню, – кивнул Моряк. – А потом – мои. Время – странная штука. Оно течёт по-разному для каждого. Ваши часы остановились не потому, что сломались. Они остановились, потому что их хозяин умер. И они не знают, для кого теперь отсчитывать секунды.

Артём замер.

– Откуда вы...

– Ниоткуда. Просто у старых моряков есть чутьё на вещи, которые потеряли смысл. – Он встал. – Попробуйте спросить у них, чего они хотят. Не вслух – про себя. Механизмы слы-

шат лучше, когда молчишь.

Он ушёл, оставив после себя запах табака и солёного ветра.

Артём смотрел на часы.

– Чего вы хотите? – спросил он шёпотом.

Маятник дрогнул. Один раз. Едва заметно.

В углу библиотеки, у окна, Катя перелистывала свой новый блокнот.

Она не решалась писать. Страницы были белыми, чистыми, нетронутыми – и это пугало сильнее, чем возможность снова написать плохие стихи. Потому что плохие стихи можно сжечь. А пустота не горит.

Рядом с ней на подоконнике стояла фиалка в маленьком глиняном горшке. Та самая, которую она вчера полила перед уходом. Сегодня у неё распустился четвёртый лист.

– Ты растешь, – сказала Катя тихо.

Фиалка молчала. Но Кате показалось – или она действительно чуть заметно повернулась к свету?

– Можно я посижу с тобой?

Катя подняла глаза.

Рядом стояла девочка лет семи-восьми, с калейдоскопом в руках и серьёзным, совсем недетским взглядом.

– Здесь много мест, – ответила Катя.

– Я не про место. Я про тебя. – Девочка села на пол, скре-

стив ноги. – Ты грустная. А у фиалки новый лист. Грустным нельзя сидеть рядом с цветами – они вянут.

Катя хотела возразить, но передумала.

– Я не грустная. Я просто... думаю.

– О чём?

– О стихах.

– Прочитаешь?

Катя покачала головой.

– Я их ещё не написала.

– А когда напишешь, прочитаешь?

– Я их сжигаю.

Девочка задумалась. Потом поднесла калейдоскоп к глазам, посмотрела на фиалку сквозь разноцветные стёклышки.

– А зачем? – спросила она. – Цветы же не сжигают. Им дают воду и свет. И они растут.

– Стихи – не цветы.

– А вдруг – цветы? – Девочка опустила калейдоскоп. – Просто у них лепестки из слов. Им тоже нужна вода. И свет. И кто-то, кто будет рядом и не будет сжигать.

Катя молчала долго.

Потом открыла блокнот на первой странице.

Чистая. Белая. Ждущая.

Она взяла ручку.

Бармен-Хранитель полировал бокал. Движения его рук

были ровными, бесконечными, как прилив и отлив.

У стойки, пристроившись на высоком табурете, сидел Цилиндр и грел ладони о свою вечно горячую кружку.

– Трое, – сказал он, не открывая глаз. – У одного маска приросла к коже. У другой – огонь в пальцах. У третьего – вселенная в гаечном ключе.

– Четверо, – поправил Бармен. – Ты забыл девочку.

– Девочка – это тот же огонь. Только не снаружи, а внутри.

– И что ты предлагаешь?

Цилиндр открыл глаза, посмотрел на спираль под потолком. Она пульсировала в трёх разных ритмах – иногда сбиваясь, иногда пытаясь синхронизироваться.

– Я предлагаю ничего не предлагать, – сказал он. – Таверна сама знает, когда их свести. Наше дело – наблюдать. И вовремя наливать чай.

– И шутить, – добавила Дама с Острым Языком, бесшумно подошедшая к стойке.

– И шутить, – согласился Цилиндр. – Шутки – это анестезия. Без них слишком больно.

– А без боли нет исцеления, – возразила Дама.

– А без анестезии никто не доживёт до исцеления. – Цилиндр отхлебнул чай. – Это не спор. Это баланс.

Бармен поставил отполированный бокал на полку.

– Спираль не может найти общий ритм, – сказал он. – Слишком разные частоты.

– Найдёт, – ответил Цилиндр. – Им просто нужно время.

И немного абсурда.

Он снял с головы помятый цилиндр, внимательно осмотрел его со всех сторон и водрузил обратно.

– Кстати, – сказал он. – Кто-нибудь видел кота?

– Какого кота? – спросила Дама.

– Не знаю. Но мне кажется, он скоро появится. Такие истории без котов не обходятся.

В зале зажгли свечи.

Кирилл сидел у стойки и сжимал в кармане красный нос. Артём возился с часами, пытаясь услышать, чего хочет оставившееся время. Катя выводила на чистом листе первые строчки.

Спираль над потолком пульсировала в трёх разных ритмах.

Медленно, очень медленно, они начинали совпадать.

Глава 5. Зал Забытых Инструментов

Артём не заметил, как оказался здесь.

Он просто шёл – куда глаза глядят, подальше от стойки, от тикающих часов, от странного ощущения, что механизмы разговаривают с ним на языке, который он забыл двадцать лет назад.

Коридор за библиотекой был тёмным, но не пустым.

Вдоль стен, в нишах, тускло мерцали старые лампы с матовыми плафонами. Пол под ногами сменил текстуру – теперь это был не тёплый деревянный настил, а холодная каменная плитка, кое-где потрескавшаяся, с тёмными пятнами от пролитого масла.

Он шёл на запах.

Канифоль. Старая древесина. Ржавчина, которую не трогали десятилетиями. И поверх всего – тонкий, едва уловимый аромат озона, какой бывает после долгой работы паяльником.

Дверь появилась внезапно – не из темноты, а из самой стены, будто ждала его приближения. Никакой таблички, никакой ручки. Только глубокая вмятина в дереве, оставленная чьей-то ладонью.

Артём толкнул дверь.

И замер.

Это был не склад. Это был храм.

Огромный зал уходил вверх, теряясь в полумраке под самым потолком. Вдоль стен, на деревянных стеллажах, на верстаках, на простых гвоздях, вбитых в камень, – везде были **инструменты**.

Скрипка без струн, с потрескавшейся декой, лежала на бархатной подушке, как больная птица. Рядом с ней – телескоп на бронзовой треноге, объектив которого пересекала

тонкая, хирургически точная трещина. Чуть дальше – печатная машинка с запавшей клавишей «Ъ», и вокруг неё, как опавшие листья, рассыпаны пожелтевшие листы.

Артём медленно шёл между верстаками, касаясь пальцами холодного металла, тёплого дерева, гладкого пластика. Каждый предмет дышал своей историей. Каждый был когда-то чьим-то продолжением – рук, ума, души.

– Этот телескоп смотрел на звёзды сорок лет.

Голос раздался откуда-то слева. Артём обернулся.

В углу, на низкой скамье, сидел Старый Моряк. Он чинил сеть – длинными, узловатыми пальцами вплетал новую нить в старую, рваную ячею. Рядом, на верстаке, стояла недопитая кружка и лежал компас с вечно дрожащей стрелкой.

– А потом у него лопнула линза, – продолжал Моряк, не поднимая глаз. – И он решил, что никому не нужен.

Артём подошёл к телескопу. Провёл пальцем по холодной латуни трубы, по гладкому механизму фокусировки, по краю разбитого стекла.

– Его можно починить, – сказал он. – Если найти такую же линзу. Или выточить новую.

– Можно, – согласился Моряк. – Но сначала он должен поверить, что его не выбросили. Что кто-то готов возиться с ним, искать стекло, подгонять по размеру. Что его время не кончилось.

Артём молчал.

Моряк отложил сеть, поднял на него глаза – выцветшие,

с мудрой, необидчивой усмешкой.

– Мой дед всю жизнь ходил на одной и той же шхуне, – сказал он. – Никогда не видел океана. Говорил: «Мне хватает этой палубы». Я тогда не понимал. А теперь понимаю. Палуба – это не место. Это отношение.

Он встал, расправил затекшие плечи.

– Ваш телескоп, – он кивнул на инструмент, – не умер. Он просто ждал. Не звёзд – мастера.

И вышел, оставив Артёма одного в полумраке.

Артём стоял у телескопа, не в силах пошевелиться.

Руки дрожали. Старая, забытая дрожь – не от слабости, от нетерпения. Так дрожали его пальцы сорок лет назад, когда он впервые взял в руки кульман и начал чертить схему стартового комплекса.

Он потянулся к инструменту.

– Осторожнее. У него острые края.

Артём обернулся.

У соседнего верстака стоял человек в старомодном сюртуке, с седыми взлохмаченными волосами и яблоком в руке. Он не смотрел на Артёма – он смотрел на яблоко, вертел его так и этак, будто видел впервые.

– Яблоки, – сказал человек задумчиво, – падают вниз. Это наблюдают все. Но только один задал вопрос: почему? – Он подбросил яблоко, поймал. – Потому что они ищут центр

своей вселенной.

Он поднял глаза. В них было что-то детское – и бесконечно усталое одновременно.

– Созерцатель Падающих Яблок, – представился он. – Можете звать просто Созерцатель. Или Ньютон. Но это не имя, а диагноз.

Артём не знал, что ответить.

– Ваш телескоп, – продолжал Созерцатель, – смотрел на звёзды. А вы, кажется, строили дороги к ним. – Он кивнул на свёрнутый ватман, торчащий из кармана Артёма. – Разница только в масштабе. И в цене ошибки.

– Ошибки? – переспросил Артём. – Я не ошибался. Мои расчёты были точны.

– Я не о расчётах. – Созерцатель положил яблоко на верстак. – Ошибка – не когда неправильно посчитал. Ошибка – когда построил дорогу, а по ней никто не пошёл.

Артём сжал челюсти.

– Это не моя вина. Это время. Люди. Деньги.

– Времени нет, – мягко сказал Созерцатель. – Есть только мы, здесь и сейчас. Ваши дороги никуда не делись. Они просто ждут, когда по ним кто-то пойдёт.

Он взял яблоко и протянул Артёму.

– Закон всемирного тяготения работает для всех. Для планет, для яблок, для старых инженеров. Вы не падаете – вы всё ещё притягиваете.

Артём посмотрел на яблоко.

Потом на телескоп.

Потом на свои руки – грубые, в мелких шрамах от ожогов и порезов, в масляных пятнах, которые не отмыть.

– Я не знаю, – сказал он. – Я просто чинил чайники.

– И чайники, и ракеты подчиняются одним законам, – ответил Созерцатель. – Термодинамика не знает сословных различий. Пар, толкающий поршень, – тот же самый пар, что поднимает корабль к звёздам.

Он улыбнулся – просто, без тени превосходства.

– Чайник – это тоже космодром. Просто для кипятка.

Он разжал пальцы.

Яблоко осталось лежать на верстаке – рядом с треснувшей линзой, рядом с ржавым телескопом, рядом с человеком, который двадцать лет ждал, что его позовут в полёт.

Артём остался один.

Он снял очки, протёр запотевшие стёкла рукавом. Посмотрел на телескоп.

– Ну что, – сказал он хрипло. – Будем чиниться?

Телескоп молчал. Но Артёму показалось – или бронзовая труба чуть заметно дрогнула, подалась вперёд, к его рукам.

Он достал отвёртку.

И начал работать.

Через час он не услышал, как в зал кто-то вошёл.

– У вас масло на щеке, – сказал детский голос.

Артём поднял голову. Рядом стояла девочка с калейдоскопом и серьёзно разглядывала его сквозь разноцветные стёкла.

– Я чинил телескоп, – сказал Артём.

– Я вижу. – Девочка опустила калейдоскоп. – А зачем?

– Чтобы он снова мог смотреть на звёзды.

– А звёзды скучали без него?

Артём замер.

– Не знаю, – сказал он. – Наверное.

– Значит, нужно скорее починить. – Девочка подошла ближе, потрогала пальцем отполированную латунь. – А вы ещё проектор можете починить? У нас в группе есть старый, он показывает диафильмы. Но у него лампочка перегорела, а новую нигде не купить.

– Можно заменить на светодиод, – автоматически ответил Артём. – Переделать схему питания. Это несложно.

– Правда? – Девочка посмотрела на него с таким искренним, неподдельным восхищением, что у Артёма перехватило горло.

– Правда, – сказал он.

– Тогда принесу. – Девочка улыбнулась. – Вы волшебник.

И выбежала из зала, оставив после себя лёгкий запах клубники и разноцветные блики на стенах.

Артём смотрел на дверь, за которой она исчезла.

Потом перевёл взгляд на свои руки.

– Волшебник, – повторил он шёпотом.

И впервые за двадцать два года улыбнулся – не криво, не горько, а просто.

Как человек, который только что понял, что его палуба – это не место, а отношение.

И палуба под ним всё ещё держится.

Телескоп стоял на верстаке, вычищенный, смазанный, с новой линзой, которую Артём выточил из старого, никому не нужного объектива от списанного микроскопа.

Трещина осталась.

Он не стал её убирать. Она напоминала – о времени, о падениях, о том, что идеально только то, что никогда не жило.

– С сорокакратным увеличением, – сказал Артём. – Звёзды будут видны как на ладони.

Телескоп смотрел в тёмное окно.

За окном не было звёзд. Только осеннее небо, тяжёлое, как свинец.

Но Артём знал: они там.

Они всегда там.

Просто ждут, когда кто-то наведёт фокус.

Глава 6. Чердак Несыгранных Ролей

Он искал тишину.

Не ту, что наступает после провала, когда зрители расходятся и в зале гаснет свет, а ту, настоящую – глубокую, тёплую, в которой можно спрятаться от собственных мыслей.

Зал Камина гудел голосами. У стойки кто-то спорил о природе зла и случайности. Библиотека шелестела страницами, которыми никто не листал. Даже Галерея Теней, где обычно царило безмолвие, сегодня мерцала отражениями и низкочастотным гулом.

Кирилл бродил по таверне, сам не зная, что ищет.

Красный нос грел карман. Пальцы машинально оглаживали резину, находили старые вмятины, скользили по трещинке у основания. Двадцать три года он носил этот нос. Двадцать три года выходил на сцену, надевал его – и становился кем-то другим.

Весёлым. Остроумным. Тем, кто умеет рассмешить.

А сейчас, без маски, он не знал, кто он.

– Лифт не работает, – сказал кто-то за спиной.

Кирилл обернулся. Никого.

– Сюда, – голос донёсся откуда-то сверху. – Лестница за стеллажом. Только осторожно, третья ступенька скрипит.

Он посмотрел на стеллаж. Огромный, под самый потолок, заставленный книгами в потёртых переплётках. Между корешками – пыль, паутина и едва заметный просвет.

Кирилл шагнул в щель.

Лестница была старой, деревянной, с перилами, отполированными тысячами прикосновений. Третья ступенька скрипнула – жалобно, по-человечески.

– Я предупреждал, – сказал голос.

Наверху было темно. Не той крошечной тьмой, от которой сжимается сердце, а мягкой, бархатистой, пропитанной запахами пудры, старого бархата и забытых духов.

Кирилл поднялся на последнюю ступеньку.

И замер.

Чердак был огромен.

Куда ни кинь взгляд – везде висели костюмы. Тысячи костюмов: фраки и платья, камзолы и цирковые комбинезоны, клоунские балахоны и строгие сюртуки. Они покачивались на невидимых вешалках, пустые, но сохранившие осанку своих прежних владельцев.

Вдоль стен, на низких столиках, громоздились коробки с масками. Комедия, трагедия, арлекин, пьеро – и сотни других, без названий, без опознавательных знаков. Некоторые были повернуты к стене – то ли в знак траура, то ли в знак уважения.

В центре чердака, в луче одинокого прожектора, стоял пюпитр с пустыми нотами.

Кирилл медленно шёл между рядами, касаясь пальцами

ткани. Бархат был холодным, шёлк – скользким, парча – тяжёлой, как воспоминания.

– Примерь, – раздалось совсем рядом.

Он обернулся.

В кресле, сплетённом из старого реквизита, сидел человек в мешковатых брюках и смешной кепке. На вид – лет семьдесят, не меньше. Лицо изрезано морщинами, но глаза – ясные, внимательные, с лучиками у глаз, которые бывают только у тех, кто много смеялся.

И много плакал.

– Примерь, – повторил Клоун с Грустными Глазами. – Не бойся, костюмы здесь не кусаются. Они только ждут.

– Я не актёр, – сказал Кирилл.

– А кто здесь актёр? – Клоун усмехнулся. – Все играют. Одни на сцене, другие в жизни. Разница только в том, что на сцене можно снять маску после спектакля. А в жизни – не всегда.

Он поднялся с кресла – легко, несмотря на возраст, с той особенной грацией, которая бывает у старых клоунов, умеющих падать так, чтобы никто не ушибся.

– Ты ищешь свой голос, – сказал он. – Не тот, которым говоришь, а тот, которым смеёшься. Настоящий. Без защиты. Без иронии.

Кирилл сжал красный нос в кармане.

– Я не знаю, есть ли он у меня.

– Есть, – ответил Клоун. – Просто ты засунул его так глу-

боко, что забыл дорогу обратно.

Он подошёл к стене, снял с гвоздика красный нос.

Старый, потёртый, с выцветшей резиной и следами от зубов внутри.

– Мой, – сказал он. – Сорок лет назад я надевал его каждый вечер. А потом перестал. Решил, что вырос из клоунады. Начал играть в драмтеатре. Чехов, Островский, Горький. Аншлаги, премии, звания. А по ночам мне снился цирк.

Он повертел нос в пальцах.

– Я вернулся через пять лет. Цирк уже не взял – возраст, говорят, не тот. Но нос оставил. На память.

Он протянул его Кириллу.

– Примерь.

Кирилл взял нос. Резина была тёплой, живой. Он поднёс её к лицу – и запах.

Запах цирка. Опилки, грим, пудра, кулисы, свежий хлеб из буфета, карамель, пот, аплодисменты.

И дом.

Он закрыл глаза.

И надел.

– Не тот, – сказал Клоун.

Кирилл открыл глаза. Снял нос.

– Что не так?

– Нос правильный, а надел ты его неправильно. – Клоун

взял у него из рук свою реликвию, бережно повесил обратно на гвоздик. – Ты надел его, как защиту. Как броню. «Я в маске, значит, можно быть кем угодно, меня не достанут». А клоунский нос – не броня. Это ключ.

– К чему?

– К себе. – Клоун сел обратно в кресло, жестом пригласил Кирилла сесть рядом на старый реквизитный ящик. – Когда я был молодым, я думал, что клоун – это тот, кто смешит других. А потом понял: клоун – это тот, кто показывает себя. самого нелепого, самого уязвимого, самого настоящего. И зрители смеются не потому, что им смешно. А потому что они узнают себя.

Он помолчал.

– Ты боишься, что без маски ты никому не нужен. Что зрители увидят твоё настоящее лицо и разойдутся. – Он покачал головой. – Это неправда. Они разойдутся, если увидят фальшь. А правду – они примут. Может быть, не сразу. Но примут.

Кирилл смотрел на свои руки.

– Я не знаю, где моя правда, – сказал он. – Я так долго играл, что забыл, кто я на самом деле.

– Это нормально, – ответил Клоун. – Все забывают. А потом ищут. И находят. Иногда – в самом неожиданном месте.

Он кивнул на карман, где лежал красный нос.

– Вот здесь, например.

Они сидели молча.

Где-то в глубине чердака тихо играла музыка – то ли скрипка, то ли шарманка. Костюмы покачивались в такт несуществующему ветру. Маски смотрели на них пустыми глазницами.

– А вы? – спросил Кирилл. – Вы нашли?

Клоун улыбнулся – той самой улыбкой, от которой морщины собирались лучиками у глаз.

– Нашёл. Здесь, – он коснулся груди. – Не на сцене. Не в цирке. Внутри.

– И что это?

– Тишина. – Клоун помолчал. – Знаешь, когда я перестал играть, я испугался. Думал – сейчас провалюсь в пустоту, исчезну, потому что без роли меня нет. А потом сидел в своей кухне, пил чай, смотрел в окно. И вдруг понял: я есть. Без грима, без света, без аплодисментов. Просто – есть. И этого достаточно.

Он посмотрел на Кирилла.

– Тебе тоже этого достаточно. Ты просто ещё не знаешь.

Кирилл встал.

– Можно я примерю ещё раз?

Клоун кивнул.

Он подошёл к стене, снял с гвоздика свой нос – не тот,

старый, который носил сорок лет, а тот, с которым пришёл Кирилл. Потёртый, со следами от зубов, с трещинкой у основания.

– Этот, – сказал он. – Он твой. Чужие носы не греют.

Кирилл взял нос.

Поднёс к лицу.

Медленно, очень медленно, надел.

Резина коснулась переносицы, легла на щёки, обхватила лицо привычным, забытым теплом.

Он не почувствовал защиты.

Он почувствовал – дом.

– Не убирай, – сказал Клоун. – Носи. Не для сцены – для себя. В кармане, в руке, на лице. Привыкай. Это не маска. Это лицо, которое ты прятал слишком долго.

Кирилл снял нос.

– Я попробую, – сказал он.

– Не пробуй, – ответил Клоун. – Делай.

И улыбнулся – светло, без горечи.

Кирилл спускался по скрипучей лестнице.

Красный нос лежал в кармане, тёплый, живой. Пальцы больше не сжимали его судорожно – просто держали, как держат что-то родное.

Третья ступенька скрипнула.

Он улыбнулся.

Внизу, у стеллажа, его ждала тишина. Не та, от которой хочется спрятаться, а та, в которой можно услышать себя.

Он шагнул в зал.

И впервые за долгое время не почувствовал, что играет роль.

Глава 7. Оранжерея: стихи для цветов

Она искала тишину.

Не ту, что наступает после сожжённых страниц, когда пепел оседает на асфальт и ветер уносит последние чёрные хлопья, – а другую, глубокую, в которой слова не обжигают пальцы, а просто лежат на бумаге и дышат.

Катя бродила по таверне, сама не зная, куда идёт.

Библиотека шелестела страницами, которые листали невидимые руки. Зал Камина гудел голосами – кто-то спорил о вечности, кто-то смеялся над шуткой, которая, кажется, была смешнее в оригинале. Даже Галерея Теней, обычно безмолвная, сегодня мерцала отражениями, в которых она боялась увидеть себя.

Она свернула в коридор, которого раньше не замечала.

Запах появился внезапно – влажный, густой, живой. Пахло мокрой землей, цветущим табаком и дождём. И ещё чем-то сладким, почти забытым – то ли клубникой, то ли летом, то ли детством.

Катя пошла на запах.

Дверь была стеклянной, с матовыми разводами от частых прикосновений. За ней струился зелёный, рассеянный свет – такой мягкий, что хотелось войти и раствориться.

Она толкнула дверь.

И замерла на пороге.

Это был не просто сад.

Это был целый мир, спрятанный в стеклянном кубе. Высокие, под самую крышу, стеллажи с цветами; подвесные кашпо, из которых свисали плети незнакомых растений; низкие скамейки, утопающие в зелени; и повсюду – свет, зелёный, золотистый, дрожащий в каплях воды на листьях.

Катя медленно шла между рядами, касаясь пальцами влажных лепестков. Цветы здесь были странные, непохожие на те, что продают в ларьках у метро. Одни – синие, с длинными, как струны, тычинками. Другие – белые, почти прозрачные, будто вырезанные из утреннего тумана. Третьи – красные, но не яркие, а глубокие, бархатистые, с горьковатым запахом, от которого щипало в носу.

Она села на скамейку у окна, достала блокнот.

Ручка легла в пальцы привычно, как продолжение руки. Строчки побежали по бумаге – быстрые, нервные, почти неразборчивые:

«Мама,

я поливаю фиалку каждый день,

но она всё равно вянет.

Может, ей нужен не я,

а ты?»

Она оторвала ручку.

Прочитала.

И потянулась в карман за зажигалкой.

– Здесь не сжигают.

Голос был тихим, усталым, но в нём не было осуждения.

Только констатация – как врач говорит «у вас температура», без паники, без жалости.

Катя подняла голову.

Рядом, опершись плечом о стеллаж, стояла женщина в простом кардигане, с седыми волосами, убранными в небрежный пучок. В руках она держала лейку – старую, с длинным носиком, из которой тонкой струйкой лилась вода.

– Здесь растут слова, – сказала Усталая Медсестра. – Неслышанные, несказанные, непрощённые. Если их сжечь – они завянут. А некоторые никогда уже не зацветут.

Она опустила лейку, вытерла руки о фартук.

– Покажи.

Катя сжала блокнот.

– Там ничего особенного.

– Я не за красотой. Я за правдой.

Катя помедлила. Потом протянула раскрытую страницу.

Медсестра читала долго. Не шевелилась, не менялась в лице. Только пальцы, лежащие на фартуке, чуть заметно дрогнули.

– Фиалки не любят, когда их много поливают, – сказала она наконец. – Им нужно просто быть рядом. Смотреть. Дышать одним воздухом. – Она перевела взгляд на Катю. – Как и людям.

– Я не знаю, как с ней быть рядом, – сказала Катя. – Она всё время на работе. А когда приходит – я уже сплю. Или делаю вид.

– Ты злишься на неё?

Катя покачала головой.

– Я не знаю. Я просто... пишу. А потом сжигаю.

– Зачем?

– Чтобы не оставалось.

Медсестра кивнула – будто услышала не детскую глупость, а точный, выверенный диагноз.

– У меня тоже были такие тетради, – сказала она. – В молодости. Я писала ночами, после смен. А утром рвала и выбрасывала в мусорное ведро в ординаторской. Думала: кому это нужно? Я спасаю жизни, а стихи – это баловство.

– И что?

– А ничего. – Она усмехнулась уголком губ. – Тридцать лет прошло. Я уже не помню, о чём были те стихи. Помню

только запах бумаги и чувство, что я – есть. Не медсестра, не дочь, не жена – а просто человек, который написал строчку и заплакал.

Она замолчала.

Катя смотрела на свои руки.

– Я не хочу плакать, – сказала она. – Я хочу, чтобы меня услышали.

– Сначала услышь себя, – ответила Медсестра. – А потом уже решай, сжигать или оставлять.

Она взяла лейку и бесшумно ушла в глубину оранжереи, оставив Катю одну на скамейке, с блокнотом на коленях и незажжённой зажигалкой в кармане.

Катя сидела долго.

Цветы дышали. Где-то капала вода. В углу, в подвесном кашпо, распускался бутон – медленно, осторожно, будто пробовал воздух на вкус.

– У моей дочери тоже были стихи, – сказал кто-то рядом.

Катя вздрогнула.

На скамейке, в двух шагах от неё, сидел пожилой человек в крестьянской рубаше, с седой бородой и босыми ногами. Он не смотрел на неё – он смотрел на цветы, и в его взгляде было столько боли, что Катя забыла, как дышать.

– Она умерла, – сказал он просто. – Сорок лет назад. Я тогда был старый – как сейчас. А она была молодая. Писала

стихи в тетрадку и прятала под подушку. Я думал: ерунда, детство пройдёт. Надо делом заниматься, хозяйством, имением. Не понимал.

Он помолчал.

– А потом она умерла. И я нашёл ту тетрадь. Сто стихотворений. Я их прочитал все – за одну ночь. И понял, что не знал собственного ребёнка. Она была поэтом, а я искал в ней помещицу.

Он повернулся к Кате. Глаза у него были выцветшие, но смотрели остро, пронзительно, будто видели не её, а ту, другую девочку – из сорок лет назад.

– Не повторяй мою ошибку, – сказал он. – Не жди, пока станет поздно. Пиши. Оставляй. Даже если никто не читает – всё равно оставляй.

– А ваша дочь... – Катя запнулась. – Она простила бы вас? Старец долго молчал.

– Не знаю, – сказал он наконец. – Я не успел спросить. Но я каждый день прошу у неё прощения. За то, что не слышал. За то, что не читал. За то, что искал смысл жизни в книгах, а он лежал под подушкой в синей тетради.

Он встал, расправил плечи.

– Твоя мама, – сказал он, – может быть, тоже не слышит. Но это не значит, что она не хочет слышать. Просто она устала. Работа, дорога, вечная гонка за завтрашним днём. Она забыла, что когда-то тоже была девочкой, которая писала стихи в тетрадку.

– Откуда вы знаете? – прошептала Катя.

Старец улыбнулся.

– Все матери были девочками, – сказал он. – А все девочки когда-нибудь становятся матерями. Это круг. Его нельзя разорвать. Можно только замкнуть – любовью.

Он кивнул ей – прощаясь, благословляя – и ушёл, бесшумно ступая босыми ногами по влажной земле.

Катя осталась одна.

Она смотрела на цветы, на бутон, который всё никак не мог раскрыться, на капли воды, дрожащие на листьях.

Потом открыла блокнот на чистой странице.

«Мама,

я не знаю, были ли у тебя стихи.

Но если были – я хочу их прочитать.

А если нет – давай посадим фиалку.

Она не требует много полива.

Только – быть рядом».

Она закрыла блокнот.

Зажигалка осталась в кармане.

Холодная.

Ненужная.

Когда Катя вышла из оранжереи, в зале уже зажгли свечи.

У камина, в своём бесконечном кресле, дремал Цилиндр.

Рядом с ним на столике дымилась кружка – ложка стояла строго вертикально, как часовой на посту.

Он приоткрыл один глаз.

– Написала? – спросил он.

Катя кивнула.

– Не сожгла?

Она покачала головой.

– Хорошо, – сказал Цилиндр и снова закрыл глаз. – При-
выкай. Оставлять следы – это не страшно. Страшно – не
оставлять ничего.

Он помолчал.

– Завтра зайди в библиотеку. Там на втором стеллаже ле-
жит один блокнот. Серый, в крапинку. Он не горит. Провере-
но.

Катя хотела спросить, откуда он знает, но передумала.

Она просто кивнула и пошла к своему столику у окна.

Фиалка на подоконнике раскрыла четвёртый лист.

Катя села, положила перед собой блокнот.

И стала ждать утра.

Глава 8. Ночь трёх вопросов

Таверна затихала после полуночи.

Не пустела – затихала. Голоса становились тише, шаги – медленнее, даже камин переставал выбрасывать искры и начинал дышать ровно, глубоко, как спящий зверь. Свечи на столиках гасли одна за другой, оставляя только дежурный свет у стойки да мерцание спирали под потолком.

Кирилл сидел у окна.

Красный нос лежал на столике перед ним – не спрятанный в карман, не зажатый в кулаке, а просто лежал, отражая блики догорающего камина. Резина остыла, но всё ещё хранила тепло его пальцев.

Он смотрел на нос и думал.

О чём – он и сам не мог бы сформулировать. Мысли приходили обрывками, не складывались в слова, повисали в воздухе невысказанными вопросами.

Когда я перестал быть смешным?

Вопрос пришёл внезапно, без предупреждения, и застрял в горле, как рыбья кость. Он не ждал ответа. Он вообще не был уверен, что хочет его услышать.

Рука сама потянулась к носу.

Пальцы коснулись резины – и замерли.

Не надел. Просто погладил, как гладят старую, привычную вещь, которая давно стала частью тебя.

– Вы не будете пить чай?

Кирилл поднял голову.

Перед ним стоял Бармен-Хранитель. В руках он держал поднос с тремя стаканами – но поставил на столик только один. Чай. Тёплый, с бергамотом, в толстостенной керамической кружке.

– Я не заказывал, – сказал Кирилл.

– Заказывали, – ответил Бармен. – Семь часов назад, когда вошли. Просто ещё не знали об этом.

Он поставил кружку и ушёл, бесшумно растворившись в полумраке зала.

Кирилл обхватил кружку ладонями. Керамика была тёплой, шершавой, с едва заметной трещинкой у края.

Чай пах бергамотом и чем-то ещё – сладковатым, уютным, забытым.

Он сделал глоток.

И вдруг вспомнил, как в детстве, после школы, бабушка встречала его такой же кружкой. Тоже треснувшей, тоже с бергамотом. Она говорила: «Горячий чай лечит всё, кроме глупости. А глупость лечится только жизнью».

Он тогда не понял.

А сейчас – не у кого спросить.

Бабушки не стало пятнадцать лет назад.

Он сжал кружку сильнее.

– Я не знаю, когда перестал, – сказал он тихо. – Я просто однажды вышел на сцену и понял, что боюсь тишины. Раньше я её не боялся. Раньше тишина была паузой между шут-

ками. А потом стала – пустотой.

Никто не ответил.

Красный нос лежал на столике и мерцал в свете камина.

В другом конце зала, у высокого столика с видом на тёмное окно, Артём разложил свои инструменты.

Часы, которые он чинил весь вечер, теперь стояли перед ним – собранные, с новым маятником и отполированным циферблатом. Они шли. Ровно, спокойно, с тихим, успокаивающим тиканьем.

– Спасибо, – сказал он часам.

Часы ответили мерным ходом стрелок.

Артём откинулся на спинку стула, снял очки, протёр глаза. Руки дрожали – от усталости, от напряжения, от странного, забытого чувства, которое он не мог определить.

Почему ракеты важнее чайников?

Вопрос пришёл из ниоткуда – и повис в воздухе, как невысказанное обвинение.

Он посмотрел на свои руки. Грубые, в мелких шрамах от ожогов и порезов, в масляных пятнах, которые не отмыть. Эти руки когда-то чертили схемы стартовых комплексов. Эти руки рассчитывали нагрузки, от которых зависела жизнь космонавтов.

А теперь они чинят чайники.

– В чём разница? – спросил он вслух.

– В цене ошибки, – ответил кто-то.

Артём обернулся.

Рядом, на соседнем стуле, сидел Господин в Обгорелом Пиджаке. Пиджак был тот самый – с едва заметными следами копоти, будто его владелец только что вышел из пожара или, наоборот, собирался в него войти.

– В ракете ошибка стоит миллиарды и человеческие жизни, – сказал Господин. – В чайнике – тысячу рублей и испорченное утро. Разница только в масштабе.

– И в уважении, – тихо сказал Артём.

Господин посмотрел на него долгим, внимательным взглядом.

– Вы ошибаетесь, – сказал он. – Уважение не зависит от масштаба. Оно зависит от отношения. Чайник, починенный с любовью, стоит больше, чем ракета, собранная из чувства долга.

Он помолчал.

– Я могу организовать вам встречу с людьми из SpaceX. Ваши расчёты нагрузок...

– Нет, – перебил Артём. – Не нужно.

– Почему?

– Потому что я не хочу в SpaceX. – Он посмотрел на часы, на ровный ход стрелок, на отполированный циферблат. – Я хочу, чтобы мой внук перестал называть меня скучным.

Господин кивнул – не снисходительно, а уважительно.

– Понимаю, – сказал он. – Иногда самое сложное – не по-

строить новое, а полюбить старое.

Он встал и, уже уходя, обернулся:

– Знаете, в чём главная ошибка всех визионеров? Мы думаем, что будущее – там, далеко, за горизонтом. А оно здесь, в этом гараже, в этих часах, в этом чайнике, который вы починили, потому что никто другой не смог.

Артём смотрел на часы.

Маятник качался ровно, спокойно, отсчитывая секунды.

Сорок секунд. Минута. Две.

– Я не знаю, – сказал он наконец. – Я просто делаю свою работу.

– Этого достаточно, – ответил Бармен, бесшумно возникший рядом. – Иногда «просто делать свою работу» – это самое большое, что может сделать человек.

Он поставил на столик стакан воды – комнатной температуры, в простом толстостенном стакане.

– Выпейте, – сказал он. – У вас был длинный день.

Артём взял стакан.

Вода была прозрачной, чистой, без вкуса и запаха. Но пальцы перестали дрожать.

В углу библиотеки, у окна с фиалкой, сидела Катя.

Свечи здесь уже погасили, и единственным источником света была спираль под потолком – её мерцание проникало даже сюда, окрашивая белые страницы блокнота в тёплый,

золотистый оттенок.

Она не писала.

Она просто сидела, обхватив блокнот руками, и смотрела на фиалку. Четвёртый лист сегодня полностью раскрылся – и теперь цветок тянулся к свету, поворачиваясь за спиралью, как подсолнух за солнцем.

Почему мама никогда не спросит, о чём я пишу?

Вопрос повис в тишине, не находя ответа.

Катя закрыла глаза.

Она вспомнила, как в детстве, лет в семь, она прибежала к матери с рисунками. Кривые домики, разноцветные цветы, солнце с лучиками-спагетти. Мать смотрела, кивала, говорила: «Молодец, красиво». И убирала рисунки в ящик стола.

Однажды Катя заглянула в этот ящик.

Рисунков там не было.

– Я их выбросила, – сказала мать, застав её за этим занятием. – Они же старые, зачем хранить?

Катя не заплакала тогда. Она просто перестала рисовать.

И начала писать стихи.

Которые тоже никто не хранил.

– Можно я посижу с тобой?

Катя открыла глаза.

Рядом стояла Тихая Гора – женщина в безупречной форме, с седыми волосами, убранными в тугий пучок, и спокойным, невозмутимым лицом. В руках она держала поднос с одной-единственной чашкой.

– Чай с ромашкой, – сказала она. – Для хороших снов.

Она поставила чашку на столик и, не дожидаясь ответа, села напротив.

– У меня тоже была дочь, – сказала она тихо. – Она не писала стихи. Она играла на скрипке. Каждый вечер, после ужина, я садилась в кресло и слушала, как она разучивает гаммы. Это было не очень красиво. Но я слушала.

– А сейчас? – спросила Катя.

– Сейчас она играет в оркестре. В другом городе. Я слышу её только в записи. – Тихая Гора помолчала. – Знаешь, в чём разница между гаммами и концертом для скрипки с оркестром?

Катя покачала головой.

– Гаммы играют для себя. Концерт – для других. Она перестала играть для меня, когда начала играть для зала. Я не жалею. Я рада, что её слышат тысячи. Но иногда я вспоминаю те вечера, когда в доме было только две ноты – до и ре, и они фальшивили, но были только мои.

Она встала, поправила фартук.

– Твоя мама, – сказала она, – возможно, не умеет хранить рисунки. Но она хранит тебя. Это труднее.

Она ушла так же бесшумно, как появилась.

Катя смотрела на чашку с ромашкой.

Пар поднимался тонкой струйкой, пах летом и детством.

– Я не знаю, что ей сказать, – прошептала Катя. – Я даже не знаю, хочет ли она меня слышать.

Фиалка молчала.

Но четвёртый лист тянулся к свету – упрямо, настойчиво, не сдаваясь.

Спираль над потолком пульсировала ровно, спокойно.

Бармен-Хранитель полировал бокал – бесконечное, медитативное движение, от которого стекло начинало светиться изнутри.

Цилиндр дремал в своём кресле, уронив на грудь помятый головной убор.

Дама с Острым Языком что-то записывала в блокнот, изредка поглядывая на трёх гостей, разбросанных по разным углам зала.

– Три вопроса, – сказала она тихо. – Ни одного ответа.

– Это хорошо, – ответил Бармен. – Ответы закрывают двери. Вопросы открывают.

– И что открывают эти?

– Не знаю. – Он поставил отполированный бокал на полку. – Но спираль стала ярче.

Цилиндр приоткрыл один глаз.

– Они все думают об одном, – сказал он сонно. – Каждый о своём. И об одном.

– О чём?

– О том, достаточно ли они хороши. Чтобы их любили. Чтобы их помнили. Чтобы их не бросили.

Он вздохнул и снова закрыл глаз.

– Классика. Сто лет читаю этот сценарий, а всё равно плачу в финале.

Дама с Острым Языком хмыкнула.

– Врёшь, – сказала она. – Ты не плачешь. Ты просто пьёшь чай и делаешь вид, что у тебя аллергия на пафос.

– Аллергия на пафос – это не вид, это диагноз, – пробормотал Цилиндр. – И вообще, отстаньте, я сплю.

Но он не спал.

Он смотрел на трёх гостей, разбросанных по разным углам одного зала, и тихо, едва слышно, напевал что-то себе под нос.

Старую цирковую мелодию.

Про клоуна, который боялся, что его разлюбят.

Часы пробили три.

Кирилл убрал красный нос в карман и поднялся из-за столика.

Артём завернул инструменты в старую холщовую тряпицу и положил рядом с починенными часами.

Катя закрыла блокнот, заложив страницу засушенным лепестком фиалки.

Они разошлись по разным дверям, по разным углам таверны, по разным комнатам отдыха.

Но спираль над потолком пульсировала в едином ритме.

Один удар сердца.

Три вопроса.

Ни одного ответа.

Этого было достаточно.

На сегодня.

Глава 9. Стендап для двоих

Кирилл не планировал возвращаться в таверну.

После той долгой ночи, когда он сидел у окна с остывающим чаем и красным носом в кармане, он вышел на улицу, поймал такси и уехал в свою пустую квартиру. Три дня он не брал трубку, не отвечал на сообщения и не открывал ноутбук. Он просто лежал на диване, смотрел в потолок и пытался понять, что с ним происходит.

Ничего не происходило.

На четвёртый день он вернулся.

Не потому что нашёл ответы. Потому что понял: в этой таверне умеют задавать правильные вопросы. А правильные вопросы – это уже половина пути.

Швейцар встретил его той же улыбкой, в которой смешивались ирония и усталость.

– Возвращаетесь? – спросил он. – Это хороший знак. Значит, первое посещение не было случайностью.

– А что было случайностью? – спросил Кирилл.

– То, что вы вообще нашли дверь, – ответил Швейцар. –

Всё остальное – закономерность.

Он пропустил его внутрь.

В зале было тихо.

Камин дышал ровным, медовым теплом. Библиотека шелестела страницами, которые листали невидимые руки. У стойки Бармен-Хранитель полировал бокал – бесконечное, медитативное движение, от которого стекло начинало светиться изнутри.

– Вы к кому? – спросил Бармен, не поднимая глаз.

– Не знаю, – ответил Кирилл. – Наверное, мне нужен Цилиндр.

– Он знал, что вы придёте. – Бармен кивнул в сторону камина. – Ждёт в своём кресле уже час. Чай остыл, но ложка всё ещё стоит.

Кирилл обернулся.

В огромном, бесформенном кресле «Облако Доводов» сидел Цилиндр. На голове – помятый головной убор, в руках – кружка, над которой действительно вертикально торчала ложка. Он не спал – смотрел на огонь и, кажется, о чём-то глубоко задумался.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.